

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга была написана благодаря почти неограниченному доступу к информации, связанной с Аланом Гринспеном: его записям и беседам с его коллегами и друзьями, которые охотно соглашались сотрудничать. В течение пяти лет, начиная с осени 2010 года, я нередко посещал офисы Гринспена в Вашингтоне, округ Колумбия, а также наблюдал этого человека в других ситуациях: дома, где он давал ужин для бывшего британского премьер-министра; в номере отеля Ritz в Южном Центральном парке Нью-Йорка, где повара в его честь изготовили из шоколада макет здания Федеральной резервной системы; на поезде Acela между двумя его родными городами, где он щедро одаривал деньгами носильщиков, поддерживая веру в перераспределение. В какой-то момент после того, как мы обработали более 70 часов записанных бесед, я потерял счет времени. Интригующие моменты стали казаться как минимум ожидаемыми, и когда они возникали, диктофон не всегда был включен. Однажды, после того как Гринспен упомянул о своей любви к автомобилям (и особенно об их способности поднять его настроение в период депрессии), я отправил ему в офис записку, в которой спрашивал, насколько серьезно он говорил об этом. Позднее в тот же день Гринспен ответил:

Уважаемый Себастьян,

В 1959 году я купил Buick с откидывающимся верхом, хвостовыми плавниками и красными кожаными сиденьями. Меня восхищала возможность мчаться по шоссе под музыку Баха, льющуюся из автомобильных динамиков. Однако я не припомню, чтобы ощущал подавленность до покупки.

С наилучшими пожеланиями,
Алан

Я подбирал фотографию, которая в наибольшей степени соответствовала бы описанию, данному Гринспеном, и отправил ему фото. Помощник Гринспена передал его ответ:

АГ сказал, что это его машина! Но его автомобиль был красный внутри и черный снаружи (а не белый, как на фото). Он также уточнил, что там был кондиционер.

За рамками разговоров о деньгах и власти, в своей личной жизни, человек может оказаться непредсказуем. Однажды, на ранних этапах подготовки этой книги, я спросил Гринспена о его романтических отношениях. «Я встречался с ведущими новостных программ, сенаторами и королевами красоты», — заявил он немного игриво. Тогда я поинтересовался, что делало его наиболее счастливым. «Чувство прогресса, траектория жизни, направленная вверх под самым крутым углом», — ответил Гринспен с обезоруживающей честностью. Я спросил, почему, несмотря на то, что он провел почти два десятилетия в роли самого могущественного экономиста в мире, он

по-прежнему настойчиво считал себя «сайдменом». Ответы моего собеседника вернули нас к любви и травме, которую он пережил в детстве. Его амбиции, застенчивость, манера, в которой он покорял Вашингтон, — всё это коренилось в детстве мальчика, родившегося в 1930-х годах на северо-восточной окраине Манхэттена.

Некоторые из лучших открытий, сделанных в ходе данного исследования, были почти случайными. Несколько усердных журналистов пытались завладеть ранними сочинениями Гринспена, использованными в его докторской диссертации. Странно, но в Нью-Йоркском университете, где ему и была присуждена степень, эти работы потеряли. Однако после нескольких месяцев, проведенных за круглым столом в кабинете Гринспена, я заметил такую особенность: когда он ссылаясь на свои юношеские идеи, его глаза перемещались к определенной полке; проследив за его взглядом, я увидел толстую связку бумаг. Однажды, когда Гринспен вернулся к теме своего интеллектуального развития, я посмотрел на ту же полку. «Мне хотелось бы прочитать вашу раннюю работу», — сказал я, целенаправленно глядя на стопку листов. Несмотря на несовершенство содержания, он отдал их мне.

Я знал, что в 1960-х годах Гринспен был де-факто главным экономистом в группе либертарианцев, объединенных вокруг писательницы Айн Рэнд. Тогда он прочитал серию лекций под названием «Экономика свободного общества». Я задавался вопросом, есть ли записи или, возможно, текст, дающие представление о мировоззрении героя моей книги, когда ему было под сорок. Однажды, когда я отыскивал друзей и коллег Гринспена той поры, я оказался в уединенном домике в лесах Вирджинии и пообщался там с Лоуэллом Уилтбанком, который управлял компьютерами и оборудованием в небольшой консалтинговой фирме Гринспена. Узнав, что Уилтбанк сам являлся приверженцем идей Рэнд, я спросил, сохранил ли он памятные вещи тех времен, и оказалось, что его подвал заполнен ими. Вскоре у меня имелось 300 страниц стенограмм — полная карта мыслей моего героя в разгар его интеллектуального пуризма.

Исследования такого рода неизбежно включают бурение многих «сухих скважин». Но усилия оказались ненапрасными: личные досье республиканца-провокатора Патрика Бьюкенена, в которых содержались непримиримые в своем консерватизме записки Гринспена Ричарду Никсону о расовой напряженности и убийствах 1968 года; неизвестная история о записях ФРС, касавшихся деривативов и ипотеки, составленная из интервью и документов, выпущенных в соответствии с Законом о свободе информации; сентиментальные воспоминания некоторых женщин, любивших Гринспена, прежде всего его жены, Андреа Митчелл... Как я уже отметил в своих благодарностях, мои собственные открытия были дополнены невероятными усилиями исследовательской группы в Совете по международным отношениям. Между нами говоря, мы провели сотни интервью и обратились к тысячам страниц документальных источников, пытаясь восстановить жизнь Алана Гринспена как можно ярче и точнее.

Я был очень удивлен, когда сам Гринспен согласился сотрудничать в этом проекте. Я подошел к нему после того, как он выразил восхищение моей историей хедж-фондов, которую он цитировал в своей ретроспективной работе, посвященной финансовому кризису 2008 года. Но я думал, что его отношение могло быть связано с более ранней книгой: моим рассказом о Всемирном банке под руководством его буйного президента Джеймса Вулфенсона. Хотя мой вердикт в целом был положительным, книга не получила хорошего приема: Вулфенсон пытался дискредитировать меня, и книжный магазин Всемирного банка решил не выставлять стопки уже заказанных экземпляров. Во время одного из приступов раздражения сотрудники Вулфенсона договорились с его выдающимся другом, что тот позвонит и успокоит его. Этим другом был Алан Гринспен.

Несмотря на столь малоподходящий фон, Гринспен согласился побеседовать со мной, хотя и понимал, что не сможет контролировать мою работу или выводы. По совету своего литературного агента я попытался уговорить его подписать соглашение, гарантирующее сотрудничество со мной и никакими другими авторами. От этого Гринспен отказался, заметив, что в какой-то момент

я, вероятно, начну делать то, что ему не понравится; и поскольку я не предлагал уступок, он тоже не собирался проявлять мягкость. После такого нелегкого начала мы стали исходить из взаимной автономии (подходящая формула для биографии либертарианца), и, оглядываясь назад, я бы не пожелал ничего другого. Достигнутая договоренность дала мне полный доступ к предмету исследования в сочетании с независимостью. Будучи мужем журналистки, много лет наблюдая за ее коллегами, Гринспен понимал, что он не должен пытаться меня контролировать.

Приблизившись к концу работы, я колебался, показать ли ему рукопись. Ничто в наших отношениях не требовало от меня выложить свои карты на стол, и я осознавал риск такого поступка. Просто сам объем исследований мог шокировать: в некоторых случаях я не рассказывал Гринспену об откопанных мною документах, поскольку они часто говорили сами за себя и не требовали его комментариев или уточнений. Кроме того, людям обычно нелегко принять рассказ о своих действиях без прикрас глазами стороннего человека: по аналогии с Вулфенсоном, Гринспен мог бы отреагировать негативно, уволив меня. Полученные свидетельства неизбежно и неоднократно приводили меня к трактовкам действий и мотивов моего субъекта, которые противоречили его собственному учению — ему это не понравится. Но после некоторого размышления я показал готовые страницы Гринспену. Во-первых, открытость представлялась мне более честной позицией, ведь он был откровенен со мной, в конце концов. С другой стороны, я хотел предоставить свое исследование для окончательной проверки. После пяти лет исчерпывающих усилий, направленных на то, чтобы понять правду, мне показалось правильным проверить результаты в последний раз, сопоставив их с памятью моего героя.

Через три недели после получения рукописи Гринспен позвонил мне в Лондон. У нас было две долгих беседы, во время которых он активно оспаривал мои интерпретации в нескольких местах. Остальное он принял, пошутив, что моя история была, скорее, точной, чем позитивной. Я убрал одну деталь о его отношениях с родителями и добавил, что в конце 1990-х годов Гринспен высказался о своих мотивах в борьбе с реформами деривативов. В других случаях я взвесил то, что он сказал, но оставил свой текст практически неизменным.

Позитивная или нет, но я надеюсь, что эта история поучительна. Будучи самым влиятельным государственным деятелем в экономике своего времени, Гринспен провел целую серию сражений, которые привели к существенным сдвигам: за последнюю четверть XX века финансы превратились из фиксированной и регулируемой системы послевоенной эпохи в систему, свободную и открытую для всех. Ни один другой человек не стоял ближе к решениям, вызвавшим данные перемены. История Алана Гринспена — это история создания современных финансов.

«Незадолго до Первой мировой войны произошла одна из катастроф в американской истории — создание Федеральной резервной системы».

— Алан Гринспен,

1964

«Суть в том, что мы действительно не знаем, как работает эта система».

— Алан Гринспен о деятельности ФРС в кредитно-денежной политике,

1999

«Финансовые рынки теперь считают председателя Гринспена примерно столь же непогрешимым, как китайцы когда-то считали Председателя Мао».

— Алан Блиндер и Рикардо Рейс,

2005

«Эпохи не более безошибочны, чем отдельные люди; в каждую эпоху было много мнений, которые в последующие века считали не только ложными, но и абсурдными».

— Джон Стюарт Милл,

1859

«ОН УСТАНОВИЛ СТАНДАРТ»

23 января 1986 года члены консультативного экономического совета при Президенте собрались в Комнате Рузвельта в Западном крыле Белого дома. Группа встретилась секретно; чтобы обойти раздражающие законы о раскрытии информации, организаторы пригласили директора ЦРУ и использовали его присутствие в качестве оправдания для проведения собрания секретно. Уолтер Ристон (высокий, сутулившийся руководитель, который вывел Citicorp в главные коммерческие кредиторы страны) занял свое место за столом; там же сел Милтон Фридман, невысокий либертарианский бунтарь из Чикагского университета; за ними последовала дюжина других светил с Уолл-стрит и членов Академии. После двух часов обсуждения дверь открылась. Вошел Рональд Рейган¹.

У президента был только один вопрос: инфляция. Когда цены растут примерно на 4 % в год, стране намного лучше, чем в начале десятилетия, когда уровень инфляции приближался к 15 %. Но 4 % — это всё еще недостаточно мало, по крайней мере для Рейгана. Инфляция должна быть сведена к нулю, «или мы вернемся туда, где были».

Один советник предположил, что уровень приемлемой инфляции может возрасти. Но президент не был готов смиренно терпеть это.

— Как, чёрт возьми, мы собираемся выровнять его? — спросил он.

— Вы совершенно правы, — ответил Милтон Фридман. — Лишь одна цель верна, и эта цель — инфляция, равная нулю. Если люди станут благоденствовать, — подчеркнул Фридман, — инфляция может возрасти примерно до 7—8 % к концу текущего года.

— Разве Бастиа не сказал, что «ни одна цивилизация не выжила на фиатные деньги»? — спросил Рейган*.

Упоминание президентом культового французского экономиста XIX века заставило замолчать большинство советников. Казалось неразумным бросать вызов глубоким убеждениям Рейгана. В данном случае они зиждились на вере в то, что валюта, устойчивость которой зависела лишь от доброй воли чиновников, провалится в реализации своей основной цели — быть средством накопления богатства. В начале своего президентства Рейган создал комиссию для рассмотрения вопроса о возвращении к золотому стандарту. В глубине души президент считал, что средством от инфляционного недоумения 1970-х годов станет возвращение к более простым временам, когда деньги были материальны.

Фридман вновь вмешался. Он почувствовал, к чему ведут рассуждения Рейгана, и попытался их изменить их направление.

* Фиатные (декретные) деньги — валюта, которую правительство объявило в качестве законного средства платежа, несмотря на то, что она не имеет никакой внутренней стоимости и не обеспечена резервами. — *Прим. перев.*

«Сегодня фиатные деньги принимаются за стандарт», — настаивал профессор. Президент был прав, опасаясь инфляции; но вместо того, чтобы мечтать о возвращении к золотому стандарту, было бы лучше избежать инфляционного избытка, ограничив тягу бюрократов к печатанию денег. Осмотрительности центрального банка пора уступить место монетарному автопилоту: следует законодательно установить, что денежная масса может увеличиваться, скажем, на 4 % в год — не больше и не меньше. «Мы должны приучить фиатные деньги к правилам, — сказал Фридман. — Не думайте, что мы сможем вернуться к товарным деньгам».

За Фридманом, как правило, оставалось последнее слово в таких обсуждениях. С 1960-х годов он был действующим академическим консультантом по денежным вопросам, а его полемические навыки вызывали страх. «Все любят спорить с Милтоном, особенно когда его нет», — криво усмехнувшись, заметил государственный секретарь Джордж Шульц; несколько презрительных слов от этого смутьяна могли вызвать у важных персон заикание². Но один человек за столом был готов выступить против Фридмана.

«А почему бы и не товарный стандарт?» — прозвучал спокойный вопрос.

Тихий голос, задавший его, принадлежал Алану Гринспену — персоне во многом очень нежелательной. Гринспен не был ни выдающимся университетским профессором, ни магнатом из частного сектора; он руководил низкопрофильным нью-йоркским консалтинговым агентством. В свои 20 лет он недолгое время был женат; но теперь, когда ему было под 60, с атлетической фигурой, пухлыми губами и гладкими черными волосами, Гринспен играл любопытную двойную роль застенчивого парня-интроверта и завидного холостяка. Каждый президент-республиканец, начиная с Ричарда Никсона, научился ценить его советы: он был человеком, который знал тайны федерального бюджета, вероятный объем произведенной в следующем году стали и причины загадочной хрупкости финансов. Но кроме того, Гринспен прекрасно танцевал, щеголял своими автомобилями и ухаживал за красивыми женщинами, причем порой за несколькими сразу³. В прошлом году, в деловом костюме с широкими плечами, он появился на телевидении, чтобы представить последнюю модель компьютера Apple, объединив свою фирменную сексуальную привлекательность с бунтарским образом Apple. После демонстрации нового устройства и объяснения того, как зрители могли использовать его для отслеживания своих финансов, состояния банковских счетов и оплаты услуг электронным способом, Гринспен с очевидным удовольствием замолчал. «Если у вас остались деньги, поздравляю, — закончил он, саркастически приподняв бровь. — Вы справляетесь лучше, чем правительство».

Рейгану, похоже, понравилось замечание Гринспена о золотом стандарте. «Я привык покупать костюм за \$ 50, — пожаловался президент. — Теперь за \$ 50 его вряд ли даже почистят». Переходя от мирского к экзистенциальному, он спросил: «Возможно ли, чтобы обычные люди решали, сколько денег нужно выпустить?»

«Проблема федерального правительства заключается в том, что оно может печатать деньги», — сочувственно заметил Гринспен своим фирменным тоном добродушного авторитета. Золотой стандарт мог бы стать способом дисциплинирования политической элиты: до тех пор, пока существует центральный банк, который может печатать фиатные деньги по своему усмотрению, политики всегда будут тратить больше необходимого, уверенные в том, что их долги покроет печатный станок. Именно по этой причине Гринспен в свои 20 и 30 лет выступал против монетарного статус-кво. До тех пор, пока американцы не признают, что центральные банки в корне ошибались с печатанием денег, до тех пор, пока они не свяжут деньги с золотом, инфляция останется постоянной угрозой, и основы экономики будут шаткими. Действительно, хотя об этом почти забыли, Гринспен довел данный аргумент до его логической крайности. Безусловно, одной из главных шуток судьбы в XX веке стало создание центрального банка страны, которое он назвал «одной из катастроф в американской истории»⁴.

11 августа 1987 года, полтора года спустя после обмена мнениями с Рональдом Рейганом, Алан Гринспен был приведен к присяге в качестве председателя Федеральной резервной системы. В течение следующих полутора лет он воплощал идею, которую часто критиковал: дискреционные суждения центрального банка о печатании денег могли стабилизировать экономику⁵. Гринспен так явно преуспел в деле, которое считал невозможным, что стал мировой суперзвездой, почитаемой экономистами и обожаемой инвесторами; с ним консультировались лидеры от Пекина до Франкфурта. Когда он выступал на регулярных собраниях руководителей центральных банков в Базеле, можно было услышать, как падает иголка; видные фигуры за столом, титаны в своих собственных странах, делали заметки с рвением студентов. Благодаря спокойной силе своего интеллекта Гринспен, казалось, руководил оркестром американской экономики с изяществом умелого дирижера; он был «маэстро», как назвал его неосторожный биограф. «Его пророческие заявления стали столь же знакомыми и утешающими для обычных американцев, как прозак и *Симпсоны*», — писал Джон Кэссиди из *New Yorker*, лукаво упоминая поднимающие настроение средства, которые появились в том же году, когда был назначен Гринспен.

Триумф Гринспена был не просто примечателен в свете его собственной истории критика бумажных денег. Он стал опровержением мощных экономических идей — идей, которые были сложны даже в представлении председателя ФРС в качестве маэстро. С момента открытия для бизнеса в 1914 году ФРС контролировала инфляцию во время двух мировых войн, превратила спад 1930-х годов в Великую депрессию, а затем, в 1970-х годах, оказалась безучастной перед лицом самой серьезной инфляции мирного времени в национальной истории. Анализируя эту череду неудач, теоретики-монетаристы утверждали, что центральные банки всегда будут терпимыми в отношении инфляции — они подвергаются непреодолимому политическому давлению и вынуждены подпитывать экономику⁶. Над Артуром Бернсом, который занимал пост председателя ФРС между 1970-м и 1978-м годами, безжалостно издевались соратники Ричарда Никсона; его преемник, Г. Уильям Миллер, был выбран Джимми Картером, поскольку слыл политически лояльным, но потерял должность после 18 месяцев работы. В 1979 году Милтон Фридман дошел до того, чтобы написать Полу Волкеру, преемнику Миллера, уверенно предсказав его неизбежный провал. «Мои соболезнования в отношении вашей “продвигаемой идеи”, — писал Фридман, отметив, что ФРС столкнулась с инфляцией на уровне двузначных чисел. — Как вы знаете, я не считаю, что система способна противостоять этому вызову без серьезных изменений в ее методах работы»⁷.

Несмотря на осуждение со стороны Фридмана, Волкер продолжал сражаться с инфляцией. Но идея о том, что существуют политические ограничения возможностей ФРС в сфере борьбы с инфляцией, всё еще казалась правдой. Волкера уволили, поскольку двузначный процент инфляции вызвал национальный кризис; было бы трудно удерживать давление масс после того, как инфляция утихомирилась. Действительно, к концу срока пребывания Волкера в должности ставленники Рейгана в ФРС подняли бунт против его жесткой политики в отношении денег, настолько унизив его, что он задумался об отставке. Урок, казалось, заключался в том, что глава центрального банка, такой как Гринспен, который вступил в должность, когда инфляция уже не являлась врагом номер один, был практически обречен на провал. Не допуская возврата к золотому стандарту, только с монетарным автопилотом Фридмана, можно было бы рассчитывать на то, что деньги в кошельках американцев сохранят свою ценность в будущем.

Гринспен достойным образом начал свое пребывание в должности на фоне скромных ожиданий. Наблюдатели предсказывали, что он «не сможет доминировать в Совете Федеральной резервной системы, как это делал Волкер... [и] не способен запугать политиков»⁸. Разумеется, в течение первых лет своего пребывания на посту Гринспен неоднократно подвергался нападкам со стороны администрации Джорджа Буша-младшего; затем, когда демократы выиграли выборы 1992 года, считалось, что его дни сочтены. И всё же к концу своего пребывания в должности этот председатель ФРС достиг высочайшего уровня, который Фридман считал невозможным. Он получил

Президентскую медаль Свободы, британское рыцарство и орден французского Почетного легиона, занимая должность более чем в два раза дольше, чем Волкер и Бернс, и в 12 раз дольше, чем несчастный Миллер. Только Уильям Макчесни Мартин, возглавлявший ФРС с 1951 по 1970 год, мог соперничать с ним. Но во времена Мартина банки и кредиты не играли столь важной роли и ФРС еще была далека от приобретенного позже статуса.

Спустя 27 лет после своего саркастического письма к Полу Волкеру Милтон Фридман высоко оценил руководство Гринспена, признав его успех. Гринспен не только поддержал победу Волкера над инфляцией, но и укрепил ее. Цены повышались в среднем на 5,2 % в эпоху Волкера и на 3 % в течение его второго четырехлетнего срока. В течение 18 с половиной лет пребывания в должности Гринспена они росли всего на 2,4 % в год⁹.

«Большое достижение Алана Гринспена — демонстрация того, что можно поддерживать стабильные цены, — заявил Фридман. — Он установил стандарт»¹⁰.

Милтон Фридман умер в ноябре 2006 года, через десять месяцев после того, как отдал должное Гринспену. Он не стал свидетелем финансового кризиса 2008 года и драматической переоценки репутации своего друга. В годы после краха Уолл-стрит «успокоительный» маэстро стал популярным злодеем, которого обвинили в раздувании чудовищного пузыря инфляции из-за безрассудной некомпетентности или необузданной идеологии невмешательства. В посткризисном мире тот факт, что Гринспен снизил инфляцию потребительских цен, почти не упоминался. Кризис уничтожил миллионы рабочих мест, «съел» триллионы долларов сбережений домохозяйств и привел к тяжелейшему со времен 1930-х годов спаду.

Финансовый кризис действительно является ключом к оценке деятельности Гринспена. Она не была безупречной; катастрофа оказалась велика, и требовалось сделать гораздо больше, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить ее. Тем не менее, хотя критика важна, вначале стоит кое-что четко сформулировать: бо́льшая часть посткризисных комментаторов уменьшила фигуру Гринспена до карикатуры. Его обвиняют в том, что он слепо верил в модели. На самом деле Гринспен относился к ним крайне скептически. Его упрекают в недооценке склонности финансовых систем к «сходу с катушек». Фактически он провел 50 лет, предупреждая о предательских кредитных циклах. Гринспена изображают как либертарианского идеолога, поклонника Айн Рэнд. Однако общение этого человека с бескомпромиссной Рэнд уживалось в нем с гибким прагматизмом, что являлось одним из многих парадоксов насыщенной жизни Гринспена. Он был евреем, дававшим советы антисемиту Ричарду Никсону. Он был консерватором, способным защищать налоговые льготы. Он был либертарианцем, неоднократно поддерживавшим финансовую помощь. И, наконец, он был экономистом, который часто вел себя, скорее, как вашингтонский тактик. Тот, кто мог приветствовать золотой стандарт, а затем запустить денежный печатный станок, безусловно, не был просто идеологом.

Убеждения Гринспена как сторонника золотого стандарта еще более усугубили катастрофу 2008 года¹¹. Он верил в золото как дисциплинирующее средство — правительства не выручили бы Уолл-стрит, если бы не могли напечатать деньги, необходимые для этого. И всё же, будучи председателем ФРС, Гринспен неоднократно сокращал процентные ставки, чтобы смягчить шок от краха Уолл-стрит 1987 года, последствий дефолта России в 1998 году и технологического банкротства 2000 года. Результатом политики зрелого Гринспена стало именно то, чего он опасался в молодости: финансистов поощряли идти на всё более серьезные риски, не сомневаясь, что ФРС защитит их¹². Почему Гринспен был готов снизить процентные ставки и возглавить огромное наращивание рисков и что могло бы произойти, если бы он сохранил высокий процент по займам? Эти вопросы являются центральными в любом суждении о его наследии. Но даже если бы этот защитник золотого стандарта отказался от более жесткой дисциплины, другой председатель ФРС поступил

бы иначе? Являлось ли использование монетаристской политики для создания опоры финансовой системы неизбежностью, учитывая политическое и институциональное давление, с которым столкнулся Гринспен? Или это отражало определенную слабость характера, страх перед конфронтацией, скрытую неуверенность, которые требовалось успокоить силой и популярностью?

Если позиция Гринспена по процентным ставкам вызывает недоумение, его нормативная позиция обычно рассматривается как неудивительное следствие либертарианской идеологии. По мнению большинства комментаторов, Гринспен сопротивлялся более жесткому регулированию, поскольку наивно полагал, что рынки эффективны. Якобы Гринспен слишком доверял финансистам, не представляя, что их ослепительные изобретения могут дестабилизировать экономику. Но истина на самом деле куда сложнее и многограннее. Гринспен никогда не был простым сторонником эффективного рынка, и порой он высказывал серьезные сомнения относительно рисков финансовых инноваций¹³. Если он, тем не менее, приветствовал появление опционов, свопов и новомодных ценных бумаг, это было отчасти потому, что он не видел иного выбора. Инфляция конца 1960-х годов разрушила успокаивающую систему фиксированных обменных курсов и регулируемых ограничений по банковским процентным ставкам; тем временем технологические изменения и глобализация сделали невозможным противостояние взрыву торговли деривативами. Приведем только одну весьма убедительную иллюстрацию: в период с 1970 по 1990 год стоимость компьютерного оборудования, необходимого для оценки стоимости ипотечного покрытия, стремительно упала более чем на 99 %. Неудивительно, что в данный период началась секьюритизация^{*14}. Поэтому, когда Гринспен и его союзники решили, что некоторые правила устарели, они не были обманутыми жертвами либертарианской лихорадки. Скорее, они пытались понять, как лучше всего справиться с неизбежной кончиной старой системы, поскольку политики при всём желании не могли сохранить контролируемую финансовую систему 1950-х и 1960-х годов.

Кроме того, отнюдь не являлось очевидным, что финансовой модернизации необходимо сопротивляться, даже если такое сопротивление было бы возможно. Безусловные риски новых финансовых методов должны были уравниваться реальными выгодами. Например, когда валюты начали колебаться, экспортеров тревожило, что рост доллара сделает их товары неконкурентоспособными, а импортеры опасались, что падение доллара увеличит их расходы. Валютные деривативы предлагали экспортерам и импортерам возможность встретиться на фьючерсном рынке и компенсировать риски друг друга — признавая нестабильность мира, финансовая инженерия обещала сделать его более безопасным. Аналогичным образом, секьюритизация ипотечных кредитов позволяла распределять риски между тысячами инвесторов; свопы^{**} и опционы^{***} представляли опасность при злоупотреблении ими, но тоже давали возможность «распределения» рисков. И когда дело дошло до управления рисками, было разумно сделать ставку на то, что банки и биржи справятся с этим лучше, чем регуляторы. Вопреки карикатуре, Гринспен и его союзники не надеялись, что частные предприниматели избегнут катастроф, но они придерживались мнения, что контролирующие инстанции не лучше их смогут предотвратить негативные события. Они были не наивными апологетами эффективности рынка, а реалистами, убежденными, что правительство не сможет справиться с задачей лучше.

* Финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки. — *Прим. перев.*

** Торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях. — *Прим. перев.*

*** Договор, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговоренной цене в определенный договором момент в будущем или на протяжении определенного отрезка времени. — *Прим. перев.*

Гринспен начал свою общественную и политическую карьеру, подписав контракт с кампанией Никсона летом 1967 года, в то время, когда финансов в их современном виде еще не существовало. В течение следующих четырех десятилетий он принимал участие во всех важных финансовых дебатах: в качестве председателя Совета экономических консультантов президента Форда (СЕА), как управляющий администрацией Рейгана, в качестве председателя Федеральной резервной системы и в качестве ведущего интерпретатора капиталистической экономики. По ходу дела союзники, которыми Гринспен окружил себя, приходили с обеих сторон политического водораздела. Джимми Картер, демократ, избавился от последних пережитков регулирования процентных ставок для банков. Билл Клинтон, еще один демократ, подписал закон о банковской реформе 1999 года, которая привела к ликвидации существовавшего со времен Великой депрессии разделения между банками, страховщиками и биржами. Это был, по сути, глобальный клуб технократов, которые, устанавливая правила для банковского капитала, перекладывали на банки ответственность за их модели рисков, словно передавая подросткам ключи от «Мерседесов». Изображать финансовое дерегулирование как продукт какого-то правого заговора — это смехотворно далеко от истины. Лучшие умы пытались понять глубинные силы, двигавшие финансовую эволюцию, и принимали наилучшие суждения. Искренность, с которой они стремились к цели, делает их ошибки еще более простительными.

Одно из преимуществ ознакомления с биографией личности заключается в том, что позволяет читателям увидеть, как на самом деле принимаются решения: неидеально, импровизированно, основываясь на неполной информации и недостатках человеческой природы. Гринспен и его современники ошибались, так как недостаточно остерегались искаженных стимулов в крупных финансовых институтах и были слишком самодовольны в отношении «пузырей» и рычагов воздействия. Но вместе с тем, если одна задача для историка — судить о прошлых поколениях, то вторая — показать потомкам, как и почему их талантливые предшественники заблуждались. В конце концов, завтрашние финансовые мужчины столкнутся с теми же ограничениями, что и Гринспен. От них будут ожидать прогнозов относительно кризисов, но они не смогут их дать из-за отсутствия инструментов для этого. Они будут призваны устранить финансовые риски, тогда как риски являются неотъемлемыми чертами человеческого бытия. Ошибочно полагать, будто государственные деятели способны выполнить нереальные задачи и действительно могут претендовать на звание «маэстро». Данное заблуждение поддерживает самодовольство граждан и тешит гордыню лидеров, но, возможно, история Алана Гринспена послужит противоядием от них.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИДЕОЛОГИЯ

ЧУВСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ

Как человек, чье детство пришлось на 1930-е годы, он влюбился в железные дороги. Огромные локомотивы, которые пыхтели и тяжело вздыхали, когда тащили свои невообразимые грузы, казались больше похожими на мифических существ, чем на машины, — «некоторые виды мастодонтов», как писали в книгах того времени¹. Увидеть луч света от фар великого монстра; адский огонь, освещающий кабину машиниста изнутри; тень кочегара, вырисовывающуюся на фоне сияния, — всё это означало испытать волнение и ужас от промышленного прогресса, точно представить, что означал «американский век». Примерно с 11 лет молодой Алан собирал расписания поездов, запоминал маршруты и города по пути и представлял себе путешествие по континенту: из Дулута в Миннеаполис, из Миннеаполиса в Фарго, а затем вперед и на запад до Хелены, Спокана и, наконец, Сиэтла. Это была возможность познать мир за пределами Вашингтонских холмов, где на северной оконечности Манхэттена селились иммигранты; способ покинуть богато украшенный лепными украшениями приземистый дом из красного кирпича; освободить свой разум от слишком знакомых улиц, наполненных европейскими наречиями — идиш, ирландским и немецким. Вашингтонские холмы стали обживать всего несколькими годами ранее, после того как в 1906 году нью-йоркский метрополитен дотянулся на север и добрался сюда. Но несмотря на появление метро, на улицах всё равно попадались лошади и люди, убиравшие за ними навоз². Неудивительно, что на этом фоне железные дороги казались чем-то романтическим³.

Алан жил с бабушкой и дедушкой — Анной и Натаном Голдсмит — и любящей матерью Роуз. Они обитали в квартире с одной спальней на 163-й улице; у Натана и Анны была спальня, а Алан и Роуз ночевали в комнате, которая считалась столовой. Выбор столь скромного жилья для четырех человек, тем не менее, представлялся оправданным — это было лучше, чем переполненные многоквартирные дома Нижнего Ист-Сайда, где жили другие иммигранты. Жилье было не таким уж плохим, учитывая, что страна находилась в тисках Депрессии⁴. Голдсмиты жили по западную сторону от Бродвея, разделительной линии, которая отделяла здоровую часть квартала от суматохи восточного⁵. «Само окружение, наряду со стилем зданий, близлежащими парками и прохладным ветром с Гудзона по вечерам, несло смутные воспоминания о буржуазных районах немецких городов», — писал современник⁶. Немецкие иммигранты стекались в Вашингтон-Хайтс в таких количествах, что это место иногда называлось Франкфурт-на-Гудзоне.

Для Натана и Анны, рожденных в России и вынужденных мигрировать в Венгрию, а затем из Венгрии в Америку, жизнь в Нью-Йорке, должно быть, казалась почти божественным благословением — они сели на воображаемый их внуком поезд и после многих приключений благополучно добрались до цели. Что касается Роуз, рожденной в Венгрии, но ставшей такой же американкой, как бейсбол, ей тоже было чему радоваться. У нее имелась постоянная работа продавца в мебельном магазине Людвиг-Баумана в Бронксе, где ей платили достаточно, чтобы хватало на ежемесяч-

ную арендную плату в размере \$ 48, еду на столе и даже на возможность давать Алану четвертак в неделю на карманные расходы⁷. Кроме того, Роуз была счастлива жить в полуквартале от своей сестры, зажиточной Мэри. Летом Алан оставался с Мэри в ее загородном доме недалеко от пляжа Рокэвей, на ближнем конце Лонг-Айленда. Алан и его двоюродный брат Уэсли часами бродили по песку, опустив головы, упорно ища потерянные монеты. Найденное они тратили на конфеты.

Маленький Алан, родившийся 6 марта 1926 года в результате ее краткого брака с Гербертом Гринспеном, был величайшим благословением для Роуз. Мальчик заполнял собой все пробелы в ее жизни — отсутствие мужа, который исчез, когда их сын был еще малышом, и отсутствие других детей. Каждое утро ее юный герой с безупречными чертами лица и широкой улыбкой отправлялся в начальную школу № 169 на Абандон Авеню и каждый день возвращался с необыкновенными приобретениями. С самого раннего возраста он мог складывать в уме большие числа и, казалось, наслаждался этим. Роуз демонстрировала его тетям и дядям. «Алан, сколько будет тридцать пять плюс девяносто два?» — спрашивала она. «Сто двадцать семь», — отвечал мальчик⁸.

Спустя несколько лет после того, как он превратил увлечение в перформанс, Алан обнаружил страсть к бейсболу, и было трудно сказать, что его больше волновало: радиокomentarии Мировой серии 1936 года или открытие мира статистики и символов, который придумал талантливый десятилетний мальчик. Статистика была простым, но приятным занятием: игрок, выигравший три из одиннадцати матчей, имел средний бэттинг* 0,273; тот, кто преуспел, выиграв пять раз из тринадцати, имел в среднем 0,385; благодаря бейсболу Алан запомнил таблицы преобразования простых дробей в десятичные. Но символы были проявлением творчества. Алан изобрел способ записи, который позволял ему отслеживать каждую встречу больших игр. Если игрок попадал по мячу на земле, он записывал аккуратный *x* в зеленой части таблицы. А когда игроку удавалась длинная передача, его обводили эллипсом; круг с *x* внутри него означал высокий полет мяча, а *a* символизировал сильный удар в дальней части поля. Каждому игроку был присвоен номер, который в сочетании со значками создавал точную запись игры: например, эллипс рядом с 11 означал длинную передачу в правую часть центра поля. Спустя 75 лет, размышляя о своем детстве, Алан сохранил убеждение в том, что его система была лучше всего того, что изобрели спортивные корреспонденты⁹. Роуз, без сомнения, с ним согласилась.

Алан не помнил ухода отца, он тогда был слишком мал, однако их разлука сильно отразилась на мальчике. В целом статус единственного ребенка в семье накладывает определенный отпечаток на формирование характера, однако положение единственного ребенка матери-одиночки может стать подавляющим фактором. Говорят, что Франклин Делано Рузвельт, государственный деятель, который определял судьбу Америки в период молодости Алана, приобрел свои уверенность и амбиции в результате неустанного внимания его матери-вдовы: он был целью ее жизни и памятником самой себе¹⁰. К счастью для Алана, его мать контролировала свое дитя гораздо меньше, чем Сара Рузвельт, которая, не задумываясь, поселила своего женатого сына в соседнем с ней доме, а затем прорезала дверь из своей большой спальни в гораздо меньшую комнату своей невестки, чтобы получить доступ в комнаты Франклина. Но хотя Роуз была по характеру мягче, чем мать президента, Алан тем не менее являлся единственным объектом ее любви, и кажется понятным, что она возлагала на него большие надежды. «Человек, который был безусловным фаворитом своей матери, на всю жизнь сохраняет чувство победителя, ту уверенность в успехе, которая часто настоящий успех и приносит», — заявил Зигмунд Фрейд, возможно, больше опираясь на интуицию, чем на доказательства¹¹. Как минимум, Алан был готов поверить, что сможет победить журналистов, пишущих о бейсболе, на их поле и что однажды у него получится доехать на поезде до Тихого океана.

Однако если Алан и не сомневался в своих интеллектуальных способностях, при общении с людьми он чувствовал определенный дискомфорт. Он мог отлично разбираться в бейсболе благо-

* Средний процент ударов: число ударов, деленное на число выходов на биты. — Прим. перев.

даря своему интеллекту, но химия человека ему была неподвластна. Возможно, отчасти его неуверенность исходила от матери, поскольку Роуз была недостижимым образцом. Довольно живая и общительная, она могла легко заставить любого ребенка почувствовать себя косноязычным по сравнению с ней. На семейных встречах дядя Алана Мюррей, который теперь носил имя Марио и пытался сойти за итальянца, с большим чувством мог сыграть на пианино; он добился успеха как автор мюзиклов в Голливуде. Но именно Роуз пела, аккомпанируя себе. Ее репертуар включал современные песни, исполненные в непринужденной манере певицы с микрофоном. Облокотившись на пианино в гостиной их квартиры, сияя заразительной улыбкой, Роуз могла стать душой любой вечеринки¹². Ее же сын оставался в стороне, чувствуя себя «сайдменом»*, как он сам будет называть себя¹³.

Но самым очевидным объяснением неуверенности в себе молодого Алана был его отец. Герберт Гринспен прибыл в Соединенные Штаты, будучи четырехлетним Хаимом Грюнспанном, скромным иностранцем, на борту корабля, который пришвартовался на острове Эллис в августе 1906 года¹⁴. С орлиным носом и высокими скулами кинозвезды Джина Келли, он был красив, как и Роуз, но в отличие от ее неизменно солнечного настроения мог быть странным и замкнутым. Возможно, именно он передал сыну привычку концентрироваться на своем внутреннем мире. И факт отсутствия у Алана отца значительно усилил эту тенденцию. После развода Герберт вернулся к своей семье в Бруклин, удалившись всего лишь на 20 миль. Однако нередко, обещая взять Алана на прогулку, он не держал своего слова¹⁵. «Алан редко его видел. Но я помню восторг, который он проявлял в тех редких случаях, когда отец навещал его», — вспоминал его двоюродный брат Уэсли¹⁶. Тот факт, что отец бросил его, подсказал Алану, что зависимость от любви может приносить боль. Казалось, безопаснее погрузиться в собственные мысли, в контролируемый мир статистики бейсбола и расписаний железнодорожного транспорта¹⁷.

В раннем детстве Алан выражал свою тоску по отцу напрямую. Суровый дед не мог служить заменой — Натан говорил на идиш с запрещающими интонациями и был поглощен миром синагоги, чуждым Алану настолько, что позже он собирался отказаться от бар-мицвы¹⁸. Но дядя Алана Ирвин, отец Уэсли, был более открытым для общения с мальчиком¹⁹. Иногда Ирвин отправлялся на прогулку, держа Уэсли одной рукой, его младшую сестру — другой, и с Аланом, мечущимся между ними. Довольно скоро Алан протискивался между двоюродным братом и дядей, вынуждая его взять племянника за руку, а Уэсли приходилось следить за собой самому²⁰. Однако по мере того, как Алан становился старше, эти очевидные просьбы о любви становились менее частыми. Гринспен преодолел травму от потери отца, когда погрузился в себя и обнаружил, что лишь проводя время в одиночестве, он чувствует себя комфортно и счастливо²¹. Даже его школьные друзья отмечали, что Гринспен был необычайно замкнутым. Ирвин Кантор, ближайший приятель Алана в средней школе Эдварда У. Штитта на 164-й улице, проводил время в его квартире, поглощенный игрой, которую они с Аланом сами изобрели — разновидность бейсбола с кубиками²². Годы спустя Ирвин вспоминал Гринспена как странного одиночку — без братьев и сестер, без отца; с матерью, которая пропадала на работе, а также с бабушкой и дедушкой, застрявшими, казалось, в своем старом мире, где детям позволялось говорить, только если к ним обращались²³.

«Я думаю, он действительно вырос с радио, в компании со своими мыслями», — говорила позднее жена Гринспена, Андреа Митчелл. «Я не знаю, было ли ему печально и одиноко, но это определенно сформировало того человека, которым он стал. Ему непросто найти подход к людям, и он очень застенчив».

«Очень застенчив», — добавила она²⁴.

Обстоятельства подпитывали не только природную замкнутость Алана, но и его амбиции. Властный внутренний голос шептал, что он способен на большее — его талант к операциям с чис-

* Сайдмен — рядовой исполнитель джаз-оркестра, участвующий только в ансамблевых партиях и не играющий импровизированное соло. — *Прим. ред.*

лами уверил его в этом, а материнское обожание устранило последние сомнения²⁵. Но Алан также понимал, что мир никогда не узнает о его величии, если только он не докажет его, ибо ему не хватало легкомыслия и беззаботного обаяния, чтобы добиться признания без труда. Если ему суждено в будущем стать кем-то выдающимся, то для этого придется много работать. У отца Гринспена имелось четкое представление о том, как направлять амбиции мальчика. В 1935 году Герберт опубликовал трактат под названием *Возвращение вперед!* — победную песнь «Новому курсу», где он сравнивал Рузвельта с великим генералом, ведущим страну к «восхитительным вершинам процветания». Герберт написал этот текст ради денег, а не с литературными или научными целями; описание книги в *New York Times* обещало «схему, в которой писатель прогнозирует колебания на фондовом рынке по месяцам в течение 1935-го и 1936-го годов»²⁶. Не смущаясь этим поразительным предвидением, Герберт подарил копию *Возвращения* сыну с надписью, в которой выразил надежду, что девятилетний ребенок будет интересоваться экономикой. «В зрелом возрасте ты сможешь оглянуться назад, попытаться интерпретировать обоснования этих логических прогнозов и начать свою собственную работу», — писал Герберт. Но хотя его сын в конечном счете последовал по предложенному пути, в то время совет отца ничего для него не значил. Алан прочитал несколько страниц книги, а затем сдался. Для девятилетнего мальчика это всё же было чересчур²⁷.

Отложив знакомство с «Новым курсом» в сторону, Алан сосредоточил свои амбиции на бейсболе. Он не только анализировал матчи, но и сам начал играть. В подростковом возрасте Алан приобрел атлетическую внешность, которая дополнялась врожденными ловкостью и рефлексам, необходимыми для спорта. Он был левшой, что сделало его прирожденным игроком первой базы. Однажды, играя в местном парке со старшими подростками, Гринспен настолько уверенно ударил по закрученному мячу, что впечатленный старшеклассник заявил, что ему пора в высшую лигу. Этот комплимент вызвал у Алана прилив гордости. Он отправился на стадион Янки, чтобы увидеть своих кумиров: Лу Герига на первой базе, Джо Ди Маджио на дальнем участке поля, питчера Лефти Гомеса — даже 70 лет спустя Гринспен по-прежнему мог перечислить их. Иногда, когда он смотрел, как играют эти чемпионы, ему представлялся фантастический поворот собственной судьбы²⁸. Вместо того чтобы наблюдать со стороны за людьми, которые сверкали словно изысканные бриллианты, он, возможно, сам мог бы стать одним из них. И тогда смотреть со стороны уже будут на Гринспена. Он займет свое место в центре Вселенной²⁹. Станет игроком первой базы высшей лиги³⁰.

Алан окончил среднюю школу в 1939 году, пропустив один год по совету своих учителей. Его следующей целью являлась полная средняя школа Джорджа Стингтона — угрожающего вида строение с итальянскими колоннами, расположенное на холмистом мысе с видом на реку Гарлем; драматический настрой усиливался массивностью и высотой здания, напоминавшего храм, перенесенный сюда из античности. Данная школа была одной из лучших в городе: она могла похвастаться отличными преподавателями, и в ней учились жившие по соседству амбициозные иммигранты, решившие начать свой путь к успеху в новой стране с успешной учебы³¹. Алан продолжал заниматься бейсболом в старшей школе, без сомнения, представляя себе, как он играет на стадионе Янки. Однако постепенно его спортивные успехи становились всё скромнее, и Гринспен понял, что ему следует направить свои стремления на что-то другое. И тогда его выбор остановился на музыке.

Обращение Алана к музыке подтверждало влияние на него матери и отсутствие такового со стороны отца. Помимо того, что тот подарил мальчику свою книгу по экономике, Герберт взял его с собой навестить дядю, бухгалтера, который жил в завидном великолепии в квартире, расположенной в южной части Центрального парка. Учитывая склонность Алана к математике, отец, возможно, решил, что в подростковом возрасте он примет своего дядю за образец для подражания. Но ничто, исходящее от Герберта, не вызывало отклика в его сыне; он был гораздо больше привязан к родственникам со стороны матери. Дед Натан был кантором в синагоге в Бронксе; дядя Марио мог играть самые сложные пьесы для фортепиано с листа; кузина Клэр шла к тому, чтобы стать профессиональной певицей. И конечно же, музыка являлась любовью Роуз. Звуки концерта

Баха или баллады из мюзик-холла погружали Алана в счастливое состояние, когда его мать пела, а ритм и мелодия связывали их вместе³².

В 12 лет Гринспен услышал, как Клэр играет на кларнете. Эти звуки покорили его, и он тоже начал играть. Постепенно бейсбольные устремления Алана таяли, и в это время он добавил в свой репертуар тенор-саксофон. Мелодии бигбенда конца 1930-х годов, слияние танцевальной музыки 1920-х годов с блюзом и рэгтаймом захлестнули его, как волна. Гринспен настойчиво упражнялся, иногда проводя в своей комнате по шесть часов в день. Он любил музыку ради нее самой, но его привлекало и кое-что еще. Музыка, как и бейсбол, включала элемент шоу. Это был еще один способ для одиночки стать звездой, привлечь внимание толпы, не сливаясь с ней.

В 15 лет Алан совершил музыкальное паломничество, схожее с его поездками на стадион Янки. Он отправился на метро в центр города, к отелю Pennsylvania, прямо до одной из главных станций Нью-Йорка, чтобы послушать Гленна Миллера и его оркестр. Выбор Гринспена был не случайным; Миллер создал вариацию для бигбенда, которая вращалась вокруг тенор-сакса и кларнета, двух инструментов, на которых играл Алан. Как он много лет спустя вспоминал в мемуарах, юноша подобрался к эстраде, оказавшись всего в десяти футах от самого Миллера; и когда группа начала играть вариацию танца из Шестой симфонии Чайковского под названием «История звездной ночи», восхищение взяло верх над застенчивостью 15-летнего подростка.

«Это невероятно!» — выкрикнул Алан. «Это потрясающе, малыш», — ответил Миллер³³.

Восторг от того, что джаз-идол обратился к нему, не покидал Алана. Миллер произнес только три слова, но это было больше, чем ДиМаджио или Гериг когда-либо говорили ему.

В безмятежную юность Алана периодически врывается бурная политика 1930-х годов. Начиная с середины десятилетия евреи из Австрии и Германии начали наводнять собой Вашингтон-Хайтс, в их числе был подросток по имени Хайнц Альфред Киссинджер, который вскоре сменил свое имя на Генри и поступил в Джордж Вашингтон-Хай на два года раньше Алана. К тому времени, когда Гринспен прибыл туда, военно-морской флот США поместил телескоп на макушке церковной колокольни, которая высилась над школьной крышей; его предназначение состояло в том, чтобы следить за рекой вниз по течению, на случай если в нее проникнут немецкие подводные лодки. Двумя годами позже, спустя несколько месяцев после поездки в центр города с целью послушать оркестр Гленна Миллера, Алан включил радио в своей спальне во время перерыва в музицировании на кларнете. Диктор объявил о нападении Японии на Перл-Харбор.

Алан игнорировал ход войны, как только мог. «Я был более обеспокоен тем, выиграют ли Brooklyn Dodgers, чем падением Франции», — вспоминал он спустя годы³⁴. Вместо того чтобы переживать о геополитике, он присоединился к объединению ансамблей, игравших на танцплощадках, исполнив пару мелодий в выходные и заработав \$ 10 за свои усилия. Самые высокие его оценки были по музыке; он продолжал преуспевать в математике, но не мог блистать в других областях, поскольку проводил много времени, играя на музыкальных инструментах. Окончив 12-й класс, Гринспен получил специальную грамоту от музыкального отделения школы. На фотографии в выпускном альбоме представлен молодой человек, сильно напоминающий чертами своего отца: высокие скулы, орлиный нос и высеченная челюсть. Подпись сообщает: «Быстр умом и к тому же талантлив. Сыграет для вас на саксофоне и кларнете»³⁵.

Окончив среднюю школу в июне 1943 года, Алан Гринспен не собирался поступать в колледж. Он занял престижное место в Джульярде, элитной консерватории в Нью-Йорке, которая стремилась соперничать с великими классическими музыкальными учебными центрами Европы. Но формальный подход школы вряд ли устраивал поклонника Гленна Миллера, и Гринспен ушел оттуда в январе следующего года. Тем временем он продолжал играть джаз и брал уроки у известного преподавателя по имени Билл Шейнер, который вершил суд в магазине му-

зыкальных инструментов на 174-й улице в Бронксе. Шейнер велел Гринспену сесть рядом с подростком по имени Стэн Гетц, который стал одним из величайших саксофонистов в истории джаза. Два ученика быстро подружились, и позднее Гринспен писал, что противостояние такому таланту выявило его собственные скромные возможности. Быть менее талантливым, чем Гетц, примерно соответствовало тому, чтобы быть не таким умным, чем Эйнштейн. В отличие от бейсбола, Гринспен знал, что его музыкальные способности вполне могли обеспечить ему заработок.

Весной 1944 года Гринспену исполнилось 18 лет, и его вызвали на призывной пункт. Это было страшное время для того, чтобы идти в армию: американские военнослужащие погибали десятками тысяч. Гринспен поехал на метро до южной оконечности Манхэттена, где военные создали призывной пункт, собирая молодых людей в здании таможни в Бэттери-парк, которая была построена как святыня международной торговли, а теперь стала участницей ее уничтожения. Долгое время Гринспен ждал в окружении сотен других молодых людей. Когда пришло время его осмотра, врачи выявили пятно на легком будущего экономиста. «Мы не можем сказать, активно ли оно», — констатировал сержант, приказав Гринспену на следующий день сообщить об этом специалисту по туберкулезу. Когда врач не смог определить, был ли молодой человек болен, Алана признали непригодным к службе.

Гринспен опасался, что его жизнь на этом может закончиться. И хотя страх оказался необоснованным, его судьба, несомненно, во многом определилась: если бы его приняли в армию, то участие в боевых действиях и общение с товарищами, вполне возможно, разрушило бы психологическую оборону Гринспена и сделало его менее одиноким; не исключено, что при таких обстоятельствах он в свои 30 лет в меньшей степени презирал бы всё, что исходило от правительства. Как бы то ни было, в 18-летнем возрасте Гринспен в ответ на мысли о смерти погрузился еще глубже в музыку. Его учитель, Билл Шейнер, рассказал ему о вакансии в ансамбле Генри Джерома, передвижной свинг-группе, где требовался кларнетист и саксофонист.

Генри Джером был не совсем Гленн Миллер. С его репутацией можно было развлекать пары среднего возраста в отелях и казино; пение под его аккомпанемент напоминало игру в мяч в классе AAA, но всё же не в высшей лиге. Однако Гринспен — застенчивый молодой человек с иронической по отношению к себе улыбкой — всё равно пришел на прослушивание в Nola's Studios в Мидлтауне. Джерому понравилось то, что он услышал, и он предложил Гринспену должность за \$ 62 в неделю — это было в три раза больше, чем его мать зарабатывала в универмаге³⁶.

В течение следующих 16 месяцев Гринспен жил жизнью гастролирующего исполнителя, разговаривая с соседями в поездах (и обнаружив, что южный акцент может быть труден для понимания), играя на концертах в далеком Новом Орлеане и безмерно наслаждаясь этим³⁷. По ходу дела он осознал, что Генри Джером оказался еще более потрясающим, чем о нем говорили. Незадолго до того, как он нанял Гринспена, группа Джерома играла в Лукаут Хаус, игорном клубе на Дикси-хайвей в Ковингтоне, штат Кентукки. Конкурирующий оркестр, который собирал намного больше слушателей в соседнем театре, переманил нескольких музыкантов Джерома. «Мне пришлось всё начать сначала, потому что оркестр был опустошен», — вспоминал Джером позже³⁸. Разглядев потенциал в рекламе, Джером решил проявить себя в новом направлении. Смелый новый стиль джаза, созданный в угаре ночных клубов Манхэттена такими музыкантами, как Чарльз «Птица» Паркер и Диззи Гиллеспи, начал затмевать собой более мягкий и нежный свинг бигбендов, который доминировал в нью-йоркской поп-музыке с конца 1930-х годов³⁹. Джером заполнил несколько открытых вакансий музыкантами, у которых были импровизационные навыки, необходимые для воспроизведения нового звука «бибоп». «Все они были уличными исполнителями, копирующими Диззи и Птицу», — вспоминал позже руководитель группы⁴⁰.

Джером метался в поисках места в Нью-Йорке, где он смог бы поэкспериментировать с новым стилем, и нашел то, что искал, в ресторане Childs за театром Paramount. Этот похожий на пещеру кафетерий на Таймс-сквер был в некотором роде странным местом, далеким от интимной обстановки джазовых клубов, в которых играли Паркер и Гиллеспи. В начале вечера он обслуживал

всех, начиная с курсантов морских училищ в увольнительной до семей из Вестчестера, прибывших в город, чтобы увидеть шоу, предлагая им блины и бутерброды с салатом из тунца — в нем не было ничего от авангарда⁴¹. Но с 1920-х годов Childs вел как бы двойную жизнь. Где-то около полуночи клиентура менялась, и в ресторане ощущалась «щепотка лаванды», как выразился скромный автор *Vanity Fair* («Ярмарка тщеславия»). Современный журналист выразил бы это по-другому. Под утро Childs превращался в горячую точку для геев⁴².

Выступление в Childs дало группе Джерома доступ на национальное радио.

Ансамбль часто появлялся в одиннадцатичасовом эфире после драм, которые шли в прайм-тайм; его бравые трубы и мягкие саксовые риффы звучали вплоть до новостной программы в начале часа, в которой сообщали последние военные сводки из Европы и с Тихого океана. Соблазнительный джазмен предвещал каждый номер вечернего концерта словесными импровизациями, чтобы соответствовать звукам, льющим из группы духовых. «Ну, мне всё равно, как далеко зашло трупное окоченение», — начал он однажды вечером весной 1945 года. — Вот мелодия, услышав которую — в аранжировке Генри Джерома, — вы просто должны встать и танцевать, независимо от того, чем вы были заняты. Врубаесть?»⁴³

Гринспен оказался младшим участником в ансамбле из 14 человек. Он был хорошим музыкантом, исполнявшим чужие мелодии, и, в отличие от великих идиолов джаза, никогда не претендовал на место импровизатора или солиста. По воспоминаниям Гринспена, его устраивала такая роль: некогда, стремясь к участию в высшей бейсбольной лиге, он видел себя выдающимся игроком первой базы, а не звездой-питчером; теперь же, играя джаз, Гринспен был доволен местом сайдмена. Но его скромность имела свои пределы. Наедине с собой Гринспен признавал, что он особенный; ему хотелось сыграть героя в драме своей жизни, и он был настроен добиться признания. Для простого подростка заработок в \$ 62 стал прекрасным стартом, и нежелание Гринспена становиться солистом вовсе не означало, что он собирался вечно стоять в стороне⁴⁴.

Играя джаз, Гринспен не ограничивался только музыкой. Он взял на себя обязательство заполнять налоговые декларации для членов джазбанды, тем самым заявив о себе как об интеллектуале. «Бухгалтер из него лучше, чем музыкант», — услышал Гринспен однажды комментарий Джерома⁴⁵. Он использовал временной простой: Вторая мировая война была периодом расцвета профсоюзного движения, и группа следовала правилам, предписанным профсоюзами: они играли 40 минут, а затем делали 20-минутный перерыв перед началом следующей подборки. Другие участники группы во время подобных интерлюдий прокрадывались наверх в аптеку Walgreens и курили наркоту в телефонных кабинках; Гринспен же это время тратил на изучение книг о финансах. В малоподходящей обстановке ресторана Childs Алан начал свое образование в области банковского дела и рынков. Он узнал о жизни Джона Пирпонтта Моргана — финансиста, который сформировал корпоративных гигантов Америки до Первой мировой войны. Также Гринспен проглотил «Воспоминания биржевого дилера» (*Reminiscences of a Stock Operator*), классический отчет о спекулянте Джесси Ливерморе, сделавшем успешную ставку против рынка накануне краха 1929 года. И он решил, что, как только устанет от музыки, его следующий шаг будет в направлении Уолл-стрит.

Как ни странно, оба родителя Гринспена поддерживали его столь резкие смены увлечений. Если ему хватило самодостаточности, чтобы отделиться от культуры джазбанды, и уверенности в себе, чтобы поверить в возможный успех в иной сфере, то всем этим он, несомненно, был обязан поддержке своей любящей матери, с которой продолжал жить, когда группа не гастролировала⁴⁶. Однако своей тягой к финансам и необходимыми для работы с ними математическими способностями он был обязан отцу, хотя и редко видел этого человека и не испытывал к нему благодарности. Так получилось, что Гринспену пришлось изгнать отца из своей судьбы прежде, чем он смог разделить его интересы. Присоединившись к джазовой группе, юноша последовал за увлечением матери; но освободившись от него, он открыл для себя финансы и пошел, таким образом, по пути отца⁴⁷. Летом 1945 года Гринспен покинул группу Генри Джерома, чтобы подготовиться к получению степени бакалавра в Нью-Йоркском университете.

НЕ-КЕЙНСИАНЕЦ

14 августа 1945 года полмиллиона жителей Нью-Йорка собрались на Таймс-сквер, прямо у ресторана Childs, где Гринспен выступал с оркестром Генри Джерома. Взгляды всех были прикованы к электрическому табло с бегущими строчками на здании New York Times, и в 7:03 вечера они услышали ожидаемую новость: «Официально — Трумэн объявляет о капитуляции Японии».

Последовал незамедлительный взрыв ликования. Люди на улицах подкидывали вверх шляпы и размахивали в воздухе флагами; офисные работники рискованно высовывались из окон и разбрасывали конфетти и серпантин, которые падали на головы прохожим; и повсюду передавали новости. В Гарлеме пары танцевали джайв на улицах, и автомобили не могли проехать, пока поливальные машины не разогнали пешеходов. В итальянских местечках Бруклина ликующие семьи устанавливали столы на улицах и предлагали прохожим еду, вино и ликеры. В Гарментском округе яркие ткани, перья и шляпки были усыпаны летавшим в воздухе конфетти. На кривых улочках китайского квартала мужчины, женщины и дети забирались на пожарные лестницы, бегали и размахивали американскими и китайскими флагами, а также приветствовали толпу ритуальными драконами, танцевавшими на пути по Мотт-стрит и Дойерс-стрит. Гудящие грузовики, заполненные радостными людьми, медленно двигались через плотный людской океан на Таймс-сквер. Мужчины и женщины обнимались. «Вчера в Нью-Йорке не было незнакомых людей», — констатировала *New York Times*¹.

Тем не менее в атмосфере всеобщего ликования присутствовала и тревожная нота. Президент Трумэн, появившись на газоне перед Белым домом вместе со своей женой Бесс, отметил, что наступил «тот день, которого мы все ждали», однако затем предупредил: «Перед нами стоит величайшая задача... и нам понадобится помощь каждого из вас, чтобы решить ее»². Страна была выведена из Депрессии благодаря военным потребностям, причем половина из них финансировалась в долг; это был, по словам историка Джеймса Паттерсона, «самый крупный проект общественных работ в истории страны»³. Но капитуляция Японии ознаменовала конец оборонного бума, и теперь США столкнулись с проблемой демобилизации 12 млн военнослужащих. Многие опасались, что вернувшиеся военные останутся не у дел, и очереди разочарованной, безработной молодежи будут предвестниками возвращения Депрессии⁴. Опросы общественного мнения показывали, что семь из десяти американцев ожидали ухудшения ситуации и сокращения их увеличившейся вдвое зарплаты, которой они наслаждались во время войны. Писатель Бернард Де Вото диагностировал у нации «страх, который кажется совершенно новым чувством... Это, возможно, самое ужасающее проявление войны — боязнь наступления мира»⁵.

Большинство американцев справились с этим чувством, положившись на правительство. Опыт военных лет показал, насколько эффективным может быть федеральное супергосударство;

правительственные плановые институты решали, что должен выпускать каждый завод, и это способствовало успешному завершению войны⁶. В 1944 году Конгресс отреагировал на настроение нации, проведя законопроект GI — «солдатский билль о правах», предложив щедрые стипендии возвращающимся военным служащим, которые хотели купить дом или поступить в университет. Той осенью в ходе президентской кампании Рузвельт поднял ставку, пообещав больше больниц, больше авиаперевозок и 60 млн новых рабочих мест; он выиграл выборы, одержав внушительную победу. К 1945 году общий объем федеральных расходов достиг \$ 95 млрд по сравнению с \$ 9 млрд в 1939 году; расходы в течение военных лет были вдвое больше, чем за предыдущие 150 лет истории США⁷. Внезапная смерть Рузвельта от кровоизлияния в мозг в апреле 1945 года не снизила энтузиазм страны в отношении его активистского подхода. После капитуляции Японии Трумэн обещал бороться за новый закон, гарантирующий полную занятость.

Таков был интеллектуальный климат, когда Алан Гринспен поступил в Школу торговли и финансов в Нью-Йоркском университете. Вера в государственное регулирование находилась на пике, а идеи *laissez-faire* (свободного предпринимательства) были отложены в сторону. «В 1945 году в Соединенных Штатах не существовало четкой, скоординированной, самосознательной консервативной интеллектуальной силы, — заявил Джордж Нэш, великий историк консервативного движения. — Раздавались, самое большее, разрозненные голоса протеста»⁸.

Приехав в университетский городок Нью-Йоркского университета застенчивым 19-летним юношей, Гринспен вряд ли мог не почувствовать эти интеллектуальные течения. После ухода из группы Генри Джерома он провел лето, курсируя между публичной библиотекой и квартирой своей матери. Гринспен усердно читал учебники, которые ему предстояло изучать в первый год своего экономического образования. Он хотел извлечь максимальную пользу из занятий, оплачиваемых его музыкальными заработками, и был настроен преодолеть стоявшее перед ним препятствие — двухлетний перерыв, проведенный вне учебного класса. Когда в сентябре университет открылся, молодой Гринспен ездил взад-вперед от Вашингтон-Хайтс до кампуса в Гринвич-Виллидж, где здания факультета окружали нелепую мраморную арку на Вашингтон-сквер, построенную в самоуверенном подражании Триумфальной арке в Париже. Там молодой Гринспен ощутил социальный климат, где доминировали легионы вернувшихся сержантов, отдыхавших вокруг богато украшенного фонтана в парке на Вашингтон-сквер. Они симпатизировали правительству, как и любая студенческая когорта — государство платило за их образование.

Преобладавший в стране прогрессивизм «Нового курса» не повлиял на формирование Гринспена: достигнув совершеннолетия в эпоху кейнсианского мышления, он оказался не-кейнсианцем. Заманчиво объяснить этот парадокс с точки зрения интеллектуального микроклимата, в котором жил Гринспен, поскольку Школа торговли в Нью-Йоркском университете по крайней мере частично противоречила более широкому национальному духу. Во-первых, у школы имелась строго практическая миссия — не даром ее прозвали фабрикой по производству множества бухгалтеров, страховых агентов, менеджеров по недвижимости и т. д. Серьезные молодые люди, обучавшиеся по данным специальностям, ходили по кампусу в форменных рубашках и галстуках, заранее отвечавших дресс-коду тех профессий, освоить которые они стремились⁹. Кроме того, эти специальности не всегда были дружественными по отношению к Новому курсу. В 1945 году Ира Мошер, лидер Национальной ассоциации производителей, осудила «беспрецедентную войну, которая в течение десятилетия велась против свободной конкурентной системы предприятий»¹⁰. Возможно, часть подобных настроений просочилась в Школу торговли, несмотря на общую проправительственную направленность поколения Гринспена.

Кроме того, университетские экономические факультеты в некотором роде пострадали от деформации времени. К 1945 году идеи Джона Мейнарда Кейнса были восприняты новыми диле-

рами в Вашингтоне, но еще не доминировали в учебной программе бакалавриата так, как после 1948 года, когда Пол Самуэльсон, самоотрекомендовавшийся как «наглый начинающий предпринимчивый делец» в Массачусетском технологическом институте, опубликовал свой классический вводный учебник «Экономика»¹¹. Текст Самуэльсона закрепил в умах студентов базу для смешанной экономики, и если бы Гринспен подвергся этому воздействию в начале своих исследований, не исключено, что он мог бы развиваться по-другому. «Современный человек уже не способен поверить, «что чем меньше правительство управляет, тем лучше», — уверенно заявил Самуэльсон в своем учебнике; и его глубокое влияние на учеников на несколько лет моложе Гринспена можно оценить по тому, что консерваторы осудили его¹². В книге «Бог и человек в Йеле» (*God and Man at Yale*), опубликованной в 1951 году, Уильям Ф. Бакли-младший сокрушался, что ровно треть класса Йельского университета подверглась воздействию сочинений Самуэльсона и что «собственно влияние экономики Йельского университета» было «полностью коллективистским»¹³.

Но когда Гринспен начал учиться в Нью-Йоркском университете, учебник Самуэльсона еще не опубликовали. Вместо него Алан слушал курсы, которые вел Уолтер Спар — глава факультета экономики Нью-Йоркского университета, чей взгляд на «Новый курс» был крайне критическим. В типичной речи в Экономическом клубе Детройта в 1949 году Спар осудил «марш в Долину смерти социализма», восклицая, что «либерализм» не означает практически ничего, кроме социализма или коммунизма, или того, чтобы быть либералом на чужие деньги». Предвосхищая возражение, что «народ», о котором идет речь, проголосовал за либералов, Спар говорил на лекции, что «в последнее народное голосование за Гитлера было подано почти 100 % от общего количества голосов»¹⁴. Очевидно, что в те годы, когда мир обновлялся, останки довоенного понимания экономики еще обретались на факультете Нью-Йоркского университета.

Вопрос в том, насколько это всё было интересно молодому Гринспену. В конце своей студенческой карьеры он записался на курс Спара, посвященный трактовке бизнес-циклов. По иронии судьбы, взгляды Спара на эту тему предвосхищали лекции и статьи, которые Гринспен написал в свои 30—40 лет. По мнению Спара, Кейнс и его ученики отставали от бизнес-циклов: они предпочитали бюджетный дефицит и печатание денег для борьбы с рецессиями, но Спар горячо верил, что такая активность будет только усугублять нестабильность экономики. Однако он отстаивал свою позицию недостаточно эффективно. Ожесточенные выступления Спара за пределами кампуса резко контрастировали с его скромной манерой держаться в университете, и он затушил идеологический огонь влажным одеялом своего стиля преподавания, что сделало его последним человеком, способным вдохновить молодые умы идеями консерватизма. Стоя перед заполненной аудиторией, где находились 50 или около того учеников, Спар велел им открывать учебники на определенной странице, а затем интересовался, есть ли у кого-нибудь вопросы по содержанию. Студентам, как правило, либо было слишком скучно, либо они боялись спрашивать, затрагивая сколько-нибудь рискованные темы, поэтому Спар просил их перейти на следующую страницу, а затем повторял свой вопрос.

Однажды, когда Спар таким образом мучил учеников, молодой моряк-ветеран по имени Роберт Кавеш посмотрел на своего одноклассника Алана Гринспена, который сидел рядом. Гринспен, казалось, прятал от профессора какую-то вещь, и когда Кавеш присмотрелся, то он увидел, что это такое. В учебнике Спара по бизнес-циклам Гринспен уместил томик меньшего объема, посвященный Кейнсу, и читал его с восторженным волнением. Тот факт, что Спар был убежденным консерватором, явно не интересовал его ученика. Спар не только не увлек Гринспена консервативными идеями, но почти оттолкнул от них¹⁵.

Правда состоит в том, что микроклимат в Школе торговли повлиял на Гринспена меньше, чем литература, которую он сам подбирал для своего чтения¹⁶. Важные факторы его детства — интроспективная изоляция, с одной стороны, и жгучее честолюбие с другой — заставляли Гринспена заниматься самообразованием, сводя к минимуму влияние посторонних. У него имелись друзья

в университете, и он был счастлив сыграть на кларнете в оркестре колледжа, спеть в веселом окружении в клубе и вместе с Бобом Кавешем, однокурсником по классу бизнес-циклов, основать музыкальный клуб, который они назвали Симфоническим обществом¹⁷. Но так же, как Гринспен достиг желанного места в Джульярде, а затем бросил, и подобно тому, как он прервал занятия джазом, а затем обратился к экономике и финансам, в студенческий период он шел своим путем, не интересуясь происходящим вокруг. Если его более позднее либертарианство и имело корни в прошлом Гринспена, то они лежали в собственной природе этого молодого человека, а не в усилиях учивших его профессоров. Вера в индивидуализм должна была воззвать к столь чистому индивидуалисту.

Курс собственного чтения начался у Гринспена с экономической истории. Его юношеское увлечение железными дорогами вернулось в новой ипостаси: он проглатывал книги о провидцах-предпринимателях, которые превратили Соединенные Штаты в промышленную электростанцию, и всё это — в пределах жизни одного человека. Историки могут писать об армиях, и флотах, и договорах, но истинное становление нации сводилось к пару и стали, которые соединяли страну, занимавшую почти весь континент. Гринспену особенно нравился Джеймс Дж. Хилл, создатель Великой Северной железной дороги, чьи идеи и изобретательность превратили дикую природу великого северо-запада в процветающую производительную экономику¹⁸. В сознании молодого Гринспена промышленники конца XIX века были не грабителями-баронами, а пионерами и героями. Когда первый поезд пропыхтел через Дакоту к побережью Тихого океана, в этих вагонах ехала американская империя, и клубы дыма из трубы паровоза значили столько же, сколько тлеющий пепел Геттисберга¹⁹.

Гринспен также, напрямую и косвенно, впитал идеи Кейнса. Он прочитал работу Элвина Хансена, выдающегося экономиста из Гарварда, который в 1930-х годах принял эти идеи. Хансен усвоил главное в озарении Кейнса — так называемый парадокс бережливости — и дал ему новый поворот, повлиявший как на разработчиков политики, так и на молодое поколение экономистов. Парадокс Кейнса описывал, как циклический спад может подпитываться самим собой: когда экономика замедляется, осторожные потребители будут стремиться к снижению расходов, лишая бизнес клиентов и тем самым усугубляя замедление. Но Хансен считал, что слабый частный спрос и избыточная экономия стали структурной болезнью. Силы, которые стимулировали расходы в XIX веке, исчерпали себя; замедление темпов роста населения, закрытие американской границы и зрелость великих капиталоемких отраслей, таких как железнодорожное строительство и производство стали, сигнализировали, что расходы будут низкими в течение неопределенного срока. Хансен полагал, что полная занятость и инфляция были почти невозможны в подобных условиях; а, следовательно, политические предписания, с которыми Кейнс выступал во время Депрессии, были на самом деле постоянными императивами. Чтобы противостоять тому, что Хансен назвал секулярным застоєм, правительству пришлось бы отказаться от излишних сбережений, перераспределяя деньги от прижимистых богачей к активно тратящим беднякам. Это привело бы к увеличению государственных расходов и уравнило большие бюджетные дефициты.

Гринспен не был убежден ни в одном из данных положений. Утверждение о том, что избыточная экономия будет накапливаться и никто не захочет тратить деньги или инвестировать их, казалось слишком пессимистичным. Для молодого человека, который вдохновлялся мужественными железнодорожными магнатами XIX века, казалось очевидным, что всегда будут появляться новые технологии, которые позволят делать новые ставки. Это Хансена — экономиста, которому уже в начале Депрессии было за сорок — спад поверг в состояние мучительного мрака. Но для Гринспена Депрессия являлась всего лишь декорацией его детства; он не видел в ней ничего обескураживающего, поскольку считал нормой²⁰. Его воспоминания о 1930-х годах не имели ничего общего с избыточными сбережениями или очередями безработных; вместо этого Гринспен помнил

острые ощущения от посещения Всемирной ярмарки в Нью-Йорке в 1939 году, где впервые заглянул в волшебный ящик под названием «телевизор». Еще через несколько лет после того как он переехал в Нью-Йоркский университет, Гринспен увидел, что город меняется под воздействием этого ящика — тощие леса антенн проросли на его крышах. Как Хансен мог утверждать, что прогресс остановился? И как мог кто-нибудь предположить, будто больше нечего тратить?

Прочитав всё, что нашел по этой теме, Гринспен случайно наткнулся на опровержение Хансена Джорджем Терборгом — безвестным экономистом, работавшим в Институте машинного оборудования и смежных продуктов. Обычный студент не удостоил бы этого автора своим вниманием — зачем читать посредственные исследования из лоббистского лагеря, когда против него выступает выдающийся профессор Гарварда? Но с ушлой независимостью человека, занимающегося самообразованием, Гринспен изучил книгу Терборга «Призрак экономической зрелости» (*The Bogey of Economic Maturity*) и согласился с тем, что в ней написано. «Застойная позиция» Хансена была чрезмерно окрашена «мрачными тридцатыми»²¹.

По воле судьбы события вскоре подтвердили правоту Гринспена и Терборга. Конец нормирования военного времени привел к буйному росту потребительских расходов. Американцы покупали стиральные машины, автомобили, электротовары, хлопчатобумажные изделия, корсеты, нейлоновые колготки, камеры, киноплёнку, спортивное снаряжение, игрушечные электропоезда — им было отказано в этом во время войны, и теперь они с радостью тратили сэкономленное, чтобы побаловать себя²². Вопреки заявлениям Хансена, потребительские расходы, экономический рост и инфляция не умерли, и во время второго года обучения Гринспена в колледже потребительские цены выросли на 17,6 %. Таким образом, его скептицизм в отношении неокейнсианской идеи подтвердился. Кроме того, он убедился, что его всесторонний подход к собственному интеллектуальному развитию оказался правильным.

Гринспен менялся по мере своего несогласия с Кейнсом. Он начал учебу в колледже неуверенным юнцом, сбежавшим от бесперспективной работы во второсортной джазовой группе. За два года учебы Алан превратился в молодого человека с призванием. В конце своего первого года в Нью-Йоркском университете Гринспен занял второе место среди претендентов на стипендию Бета Гамма Сигма в университете, что было признанием его «эрудиции, характера и серьезности цели»²³. Его друг Боб Кавеш, который сделал выдающуюся карьеру в качестве профессора экономики, уверял, что никогда не видел, чтобы кто-то столь эффективно собирал информацию из эклектичных источников. Открыв экономику, Алан нашел свое призвание.

Это было захватывающее время для вступления в профессию. Гринспен пришел в экономику тогда же, когда Соединенные Штаты стали доминировать в данной области. Перед войной Лондон и Кембридж Джона Мейнарда Кейнса сформировали экономическое мышление. После войны Бостон, Чикаго и Нью-Йорк одержали верх, ведя злостные академические бои между собой²⁴. То, что действительно захватило Гринспена, не являлось ни миссионерским кейнсианством бостонцев, ни идеями свободного предпринимательства чикагской школы. Именно интенсивный эмпиризм нью-йоркской школы сформировал подход, сохранившийся на протяжении всей его карьеры и объяснявший его самые большие достижения.

Штаб-квартира нью-йоркской школы находилась примерно в шести милях к северу от Нью-Йоркского университета, в Колумбийском университете и в ближайшем Национальном бюро экономических исследований, которое было создано в 1920 году профессором по имени Уэсли Клар Митчелл. Цель Национального бюро заключалась не в том, чтобы теоретизировать о функционировании экономики, а, скорее, в измерении того, что она уже сделала, например: объем полученного хлопка или чугуна; количество часов, проработанных среднестатистическим рабочим в неделю; денежные суммы, потраченные компаниями на новые машины или здания.



Президент Форд поздравляет Алана Гринспена в Белом доме после того, как Гринспен был приведен к присяге в качестве председателя Совета экономических советников. Роуз Голдсмит, мать Гринспена, стоит справа, Вашингтон, 1974

В течение следующей четверти века исследователи из Национального бюро собрали статистику, необходимую для документирования бизнес-цикла и формирования национальных отчетов, на основе которых рассчитывается валовой внутренний продукт. В начале Депрессии администрации Гувера и Рузвельта столкнулись с крахом производства, понятия не имея о том, что же, собственно, производилось. К тому времени, когда Гринспен окончил Нью-Йоркский университет, армии помощников Уэсли Митчелла следили за всеми аспектами продуктивного существования американцев.

В свой первый год в Нью-Йоркском университете Гринспен почувствовал вкус к этому измерительному проекту. Он прослушал курс статистики профессора Джеффри Мура, преподавателя Торговой школы, который был еще и исследователем в Национальном бюро. Мур позже стал специальным уполномоченным по статистике труда при Ричарде Никсоне и значительно повлиял на эту сферу, работая над определением ведущих и тормозящих показателей бизнес-цикла. Мур увидел в молодом Гринспене единомышленника и рекомендовал его на летнюю практику в престижный банковский дом Brown Brothers Harriman. Гринспен доехал на метро до здания Brown Brothers на Уолл-стрит и вскоре вступил в святилище с толстыми коврами, позолоченными потолками и столами-конторками. Младший партнер в банке попросил его подготовить еженедельную сезонную корректировку данных Федеральной резервной системы о продажах в универмагах, и в течение следующих двух месяцев Гринспен изучал технические статьи о том, как рассчитываются сезонные корректировки, сортируя данные с помощью логарифмической линейки²⁵.

Корпя над цифрами, Гринспен узнал о себе кое-что новое. Он получал больше удовлетворения от этой узкой задачи, чем от грандиозных, но неубедительных дебатов о правительстве и рынках, захвативших некоторых из его друзей в университетском городке. Что-то мощное внутри него требовало контроля над ограниченной областью. Гринспен хотел быть правым и знать, что он прав; в итоге он преуспел в решении проблем, которые были под силу одиночке, свободному от мнения других. Критики нью-йоркской школы высмеивали Национальное бюро за проведение «измерений без теории». Застенчивый молодой интроверт был счастлив просто заниматься измерениями²⁶.

Гринспен закончил *summa cum laude* в 1948 году, обеспечив себе непрерывную строку оценок А по всем предметам первого семестра²⁷. Ему дали стипендию, чтобы он мог остаться в Нью-Йоркском университете, учиться по вечерам и получить степень магистра; его сбережения от заработка джазового музыканта закончились, и ему требовалось работать днем. Рекламное агентство сделало Гринспену выгодное предложение, но его сердце не лежало к рекламному бизнесу; вместо этого он занял более скромную позицию в качестве бизнес-исследователя в Национальном совете промышленной конференции*. С зарплатой \$ 45 в неделю новая должность приносила меньше денег, чем прежние выступления с группой Генри Джерома, но она давала возможность стать экономистом.

В Совет Конференции входило около 200 компаний-членов, на которых держался американский бизнес и чей подход к экономике был продолжением эмпирической нью-йоркской школы. Совет разработал первую версию индекса потребительских цен и был лучшим источником данных о безработице во время Депрессии. В просторных офисах на Парк-авеню группы исследователей собирали данные, с которыми хотели ознакомиться его корпоративные члены: тенденции в добыче полезных ископаемых, сведения об урожае хлопка, внешней торговле, выпуске стали и т. д. Гринспен поставил перед собой задачу овладеть всеми источниками информации в библиотеке Совета Конференции и начал публиковать статьи во внутреннем журнале Совета. Он подготовил тщательный анализ прибыли мелких производителей, начала строительства жилья и тенденций потребительского кредитования. Члены Совета Конференции узнали имя автора. *New York Times* перепечатал одну из его статей.

* Экономическая исследовательская организация. — Прим. перев.

Обосновавшись в Совете Конференции, Гринспен привлек к себе внимание отца. Покинув Роуз вскоре после рождения Алана, Герберт исчез из жизни сына; он снова женился и создал вторую семью. Теперь, когда Алан добился профессионального успеха, Герберт появился на горизонте, предлагая ему партнерский бизнес: возможно, они могли бы создать консалтинговую фирму или даже попробовать свои силы в торговле. Однако его предложения встретили холодный прием. Уйдя в свой внутренний мир, Алан справился с отсутствием отца, но он не собирался вступать в партнерство с человеком, который когда-то загнал его в раковину.

Кроме того, в Герберте было нечто, вызывавшее инстинктивный отклик Алана. Отец испытывал по отношению к нему неловкость, что заставляло и его неловко реагировать. Мало того, что он унаследовал этот недостаток, еще хуже было, что отцовское присутствие усиливало его. При всем его уме от Герберта исходил удушливый запах неудачи. Он увлеченно говорил о создании нового бизнеса; как и многие сторонники фондового рынка в 1940-х годах, он был очарован ценовыми графиками, подсказывающими, когда покупать или сбрасывать акции. Но Герберту не хватило характера, чтобы произнести свою скороговорку; он по-прежнему был тем человеком, который обещал навестить маленького сына в Вашингтон-Хайтс, а затем снова и снова не держал данное слово. Если безусловная преданность Роуз Голдсмит укрепила в Алане чувство победителя, то аура растрченного потенциала Герберта Гринспена стимулировала его иным образом. Сын решил не быть таким, как отец. Он докажет, что он другой, отделившись от него профессионально²⁸.

Гринспен был готов превзойти отца²⁹. В 1950 году он получил магистерскую степень в Нью-Йоркском университете и поступил на программу подготовки докторов наук (PhD) в Колумбийском университете. Его наставником стал Артур Бернс, в 1970-х годах ставший председателем Совета директоров ФРС. Бернс был впечатляющей фигурой, красивый, с хорошо поставленной речью; о его карьере в правительстве говорили, что, где бы ни сидел, он всегда находился во главе стола³⁰. Мильтон Фридман, который учился у Бернса в Университете Ратджерса, писал, что кроме родителей «бесспорно» обязан всем Бернсу, называя его «почти суррогатным отцом»³¹. Гринспен отреагировал на Бернса точно так же; что-то в его старомодном облике — густые волосы, разделенные посередине пробором, и задумчивое набивание трубки — вызывало симпатию и привязанность. «Вот бы мне стать кем-то вроде него, а затем получать \$ 20 000 в год», — вспоминал о своих мечтах Гринспен³². Если собственный отец был для Алана чем-то вроде ролевой антимодели, то Бернс олицетворял профессиональный успех, к которому стремился молодой человек.

Бернс был главным наследником эмпирической традиции Уэсли Митчелла, и его влияние сдерживало энтузиазм, который Гринспен мог бы почувствовать к новым тенденциям, которые начали зарождаться в экономике. По прибытии в Колумбийский университет Гринспен прослушал курс математической статистики, позднее ставший известным как эконометрика. В курсе было показано, как можно использовать измерения, созданные эмпириками, и проверить соотношения между ними с помощью методов регрессивного анализа. В отсутствие этих инструментов экономисты могли делать обоснованные предположения о том, как одна часть экономики связана с другой. Например, всплеск производства стали логически сигнализировал о всплеске активности в отраслях, использующих сталь, таких как автомобилестроение. Это, в свою очередь, служило основанием для прогнозирования более быстрого роста всей экономики. Но с помощью регрессивного анализа экономисты могли достичь большего, чем просто догадки. Им оказалось бы под силу рассчитать взаимозависимость между прошлым ростом производства стали и ускорениями роста экономики, а затем исходя из этого спрогнозировать будущее, основываясь на чем-то близком к научным убеждениям.

Годы спустя Гринспен применил регрессивный анализ к созданию модели экономики и описал себя как «эмпирика, которого ограбили эконометрики»³³. Но благодаря влиянию Бернса он изучил в Колумбийском университете математическую статистику, не принимая ее полностью. В своей работе в Совете Конференции он продолжал держаться в стороне от неопределенной деятель-

ности по расчету отношений между экономическими переменными, предпочитая эмпирический сбор данных. Количественное измерение экономики было достаточно сложным: одну серию данных за другой следовало периодически корректировать с учетом сезонных колебаний и проверять на согласованность с другими сериями — и всё это без помощи компьютеров. Гринспен не сомневался, что эта скромная задача имеет большую ценность, чем отвлеченная математика. Даже самый точный эконометрический расчет был ограничен, потому что вчерашние статистические соотношения могли не сработать завтра; по контрасту, более точные измерения того, что происходит с экономикой на самом деле, больше, чем просто оценки, — это факты. Даже в дальнейшем, приняв эконометрику и став председателем ФРС, Гринспен никогда не расставался со своим убеждением, что для экономиста качество данных важнее, чем сложность моделирования.

В 2011 году, во время одной из наших длительных бесед в его офисе в Вашингтоне, Гринспен схватил с полки выцветший зеленый том. Это была копия «Измерительных бизнес-циклов» (*Measuring Business Cycles*), классическое исследование Артура Бернса о превратностях американской экономики, написанное в соавторстве с отцом эмпиризма Уэсли Митчеллом. Книга с любовью хранилась с тех пор, как Гринспен учился в Колумбийском университете шесть десятилетий назад.

«Откройте», — позволил мне Гринспен.

Я распахнул книгу наугад. На странице преобладали таблицы и диаграммы: производство чугуна, цены на железнодорожные акции, онкольные процентные ставки*.

Я вопросительно поднял глаза, но строгий жест велел мне снова открыть книгу. На этот раз мне попалась другая страница, и я обнаружил, что смотрю на таблицу, которая досконально сообщала о пиках и падениях добычи битуминозного угля**. Содержание «Измерительных бизнес-циклов» свидетельствовало обо всех деталях промышленного расцвета Америки. Взгляд Бернса-Митчелла на экономику строился на статистике по каждому виду сырья, каждой шахте, каждой фабрике.

Я понял, почему Гринспен показывал мне книгу своего наставника. Это было окно в экономическое мышление другой эпохи, и он хотел, чтобы я увидел, откуда появилась его любовь к статистике.

* Процентная ставка по ссудам до востребования. — Прим. перев.

** Битуминозный уголь (его также называют жирным) характеризуется более высоким содержанием углерода и более высокой теплотой сгорания, чем бурый уголь. — Прим. перев.